

Научная статья

УДК 82-32

DOI 10.25205/2713-3133-2024-1-58-69

Мотив бродяжничества в гендерном аспекте русской литературы 1920-х годов

Людмила Павловна Якимова

Институт филологии
Сибирского отделения Российской академии наук
Новосибирск, Россия

literaturovedy_ifl@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7484-5020>

Аннотация

Содержанием статьи является сопоставительный анализ рассказов Вс. Иванова «Жизнь Смокотинина», Л. Леонова «Бродяга», повести А. Платонова «Река Потудань», объединенных общим вниманием авторов к мотиву бродяжничества. Рассматривается общая структурированность текста, сходство и перекличка в использовании художественных средств, в данном случае прежде всего поэтико-смыслового потенциала притчи о блудном сыне. В теоретическом аспекте выявляется потенциальная вовлеченность рассмотрения произведений с такого рода мотивно-сюжетными связями как цельного литературного цикла.

Ключевые слова

сопоставительный анализ, рассказ Вс. Иванова «Жизнь Смокотинина», рассказ Л. Леонова «Бродяга», повесть А. Платонова «Река Потудань», мотив бродяжничества, притчево-евангельский код, интенции литературного цикла

Для цитирования

Якимова Л. П. Мотив бродяжничества в гендерном аспекте русской литературы 1920-х годов // Сюжетология и сюжетография. 2024. № 1. С. 58–69. DOI 10.25205/2713-3133-2024-1-58-69

Vagrancy Motive in the Gender Aspect of Russian Literature of the 1920s

Lyudmila P. Yakimova

Institute of Philology
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation

literaturovedy_ifl@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7484-5020>

Abstract

The content of the article is a comparative analysis of the stories in Vs. Ivanov's "The Life of Smokotinin", L. Leonov's "The Tramp", A. Platonov's novella "The Potudan River", united

© Якимова Л. П., 2024

eISSN 2713-3133

Сюжетология и сюжетография. 2024. № 1. С. 58–69

Studies in Theory of Literary Plot and Narratology, 2024, no. 1, pp. 58–69

by the authors' common attention to the motive of vagrancy. The article considers the general structuring of the text, the similarity and overlap in the use of artistic means, in this case, first of all, the poetic and semantic potential of the parable of the prodigal son. In the theoretical aspect, the potential involvement of the consideration of works with this kind of motive-plot connections as an integral literary cycle is revealed.

Keywords

comparative analysis, story Ivanov's "The Life of Smokotinin", L. Leonov's story "The Tramp", A. Platonov's story "The Potudan River", the motive of vagrancy, the parable-gospel code, the intentions of the literary cycle

For citation

Yakimova L. P. Vagrancy Motive in the Gender Aspect of Russian Literature of the 1920s. *Studies in Theory of Literary Plot and Narratology*, 2024, no. 1, pp. 58–69. (in Russ.) DOI 10.25205/2713-3133-2024-1-58-69

Мотив бродяжничества относится в русской литературе к числу распространенных и до сих пор не утративших своей продуктивности, о чем свидетельствует не угасающее внимание к его исследованию и в новом веке, текущем литературоведческом процессе [Смирнов, 2005; Рыбальченко, 2013]. Издавна он известен по крайней мере в двух противостоящих друг другу формах жизненного воплощения – высокого типа паломничества, подчиненного целям духовного окормления, и низко бытового нищевродства, обеспечивающего хлебом насущным, но каждое время порождает свои виды бродяжничества и соответствующие им формы лексического выражения: так, конец XIX – начало XX в. в России ознаменовались ростом босаячества, середина XX в. – хиппизма, в современной действительности он получил отражение в аббревиатуре *бомж*.

В социально-исторический контекст бродяжничества органично вписываются миграционные процессы и события, связанные с экологическими бедствиями – засухой, наводнением, землетрясением, а также с развитием военных действий, порождающими массовые явления беженства, бездомности, скитальчества. О поэтико-смысловой значимости и роли художественной репрезентации мотива бродяжничества свидетельствует то, что многие возникшие в этом контексте произведения воспринимаются как шедевры писательского мастерства и знаки высшего достижения творческой мысли, подобно тому, как достоянием мировой культуры стали «Очарованный странник» Н. Лескова, «На дне» М. Горького, «Река Потудань» А. Платонова.

Обещанное Революцией намерение разрушить весь старый мир «до основания» не только обернулось обрушением государственного строя и хозяйственно-экономической системы, но затронуло и те стороны человеческих отношений, онтологический характер которых воздействию человеческой воли не подлежал, а восходил к сфере действия высших, извечных, природных законов Бытия. Настоящим манифестом большевистского своеволия, исходящим из дерзновенного посыла к всевластному «контролю разума и веры» [Троцкий, 1990, с. 195], наступление времени, когда «жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективной, экспериментальной» [Там же], стала вышедшая в 1923 г. книга Л. Троцкого «Литература и революция», самым заглавием своим акцентирующая особую роль литературы в осмыслении провозглашенных Революцией ценностей и в этом от-

ношении острую нуждаемость общества не только в проницательном читателе, но и аналитически мыслящем писателе.

С подчинением «контролю разума и веры» в реальной жизни дела обстояли много сложнее, чем представляли они в «литературных мечтаниях» революционного вождя. Реализуемый социальный проект, исходя из хорошо продуманного, но, тем не менее, придуманного государственного Плана преобразований народной жизни, в живой действительности представал часто в неожиданных проявлениях и непредсказуемых поворотах, которые воспринимались как новая реальность и требовали глубокого осмысления.

Провозглашенное Конституцией социальное равенство мужчин и женщин, воспринятое в вульгарно-социологическом свете, на повседневно-бытовом уровне жизни обернулось свободой от уз и церковного, и гражданского брака, полным пренебрежением к национально-народным традициям семьеустройства, анархической свободой сексуально-половых отношений. Многолетняя война безответственного отношения мужчины к женщине закрепила как норму, что молодая советская литература отразила в многообразии жанровой, образной, сюжетно-мотивной структуры своих произведений: «Сегодня женщина – завтра смерть», – рассуждает герой рассказа Б. Лавренева «Происшествие» (1923) (цит. по: [Окрыленные временем..., 1990, с. 180]). Но превратно воспринятые свобода и равенство сказались и на поведении женщины в ее отношении к сексу, браку, семье, деторождению, что коренным образом отразилось и на репрезентации гендерных отношений в литературе, существенно повлияло на ее мотивно-сюжетный фон.

Типичную картину поведения женщины пореволюционной поры воспроизводит Л. Леонов в романе «Дорога на Океан» в особой форме вставного эпизода, представленного рассказом одинокого сторожа в провинциальном санатории. Он вспоминает ту далекую пору, когда, уставший от многолетней войны, истерзанный тифозной горячкой, до неузнаваемости изменивших его облик, возвратился он домой и, оказавшись у его порога, решил «пошутить на радостях», поиграть с тоже изменившейся за эти годы женой. Попросившись на постой и не узнавший ею, он в полной мере воспользовался ее женской уступчивостью: «Лежу, смех меня берет: жена мужа не признала. Счас, думаю, ты меня расчухаешь... Полез к ней под тулуп, сгреб... и даже не толкнула, приняла. Пospал, а без радости: краденое... Чуть начало светать, ушел я тихонько» [Леонов, 2013, с. 322].

Реализуемый большевиками социальный проект, не подчиняясь строгому «контролю воли и разума», непредсказуемо оборачивался развитием и другого рода тенденций, которые разрушали образ самого разумного и справедливого общества. Показательно в этом отношении социальное явление бродяжничества, суровая реальность которого не противостояла сокровенной сути революции, а была ее порождением.

Те писатели, творческому кредо которых чуждо было аподиктическое восприятие «огнедышащего времени» по принципу «Хорошо!» или «Время, вперед!», в исследовательском восприятии новой жизни неминуемо должны были выйти на образное воспроизведение и такой экстремально заявленной тенденции, как появление бродяжничества, и не случайно особой глубины идейно-эстетического звучания отмечен мотив бродяжничества в советской литературе ее ранней поры, когда входила в фазу расцвета творческая жизнь писателей, ставших классиками национальной литературы – Всеволода Иванова, Леонида Леонова, Андрея Пла-

тонова, определивших столбовой путь ее развития в XX в. Именно тогда, в интервале от середины 1920-х до середины 1930-х гг., вышли из печати рассказы Вс. Иванова «Жизнь Смокотинина» (1926), Л. Леонова «Бродяга» (1928) и повесть А. Платонова «Река Потудань» (1937), мотивная и жанровая общность которых дает реальные основания рассматривать их как литературный цикл.

Рассказ Вс. Иванова «Жизнь Смокотинина» обращен к начальному времени мирной жизни, когда уставшие от долголетней войны люди стали возвращаться домой в надежде «и построиться, и поработать». Однако деструктивная воля революции и военных лет уже успела произвести свою разрушительную работу и внутри самого человека, отозваться в национальном характере утратой духовных ориентиров, тотальной порушенностью таких вековых ценностей, как вера в Бога, святость семейных уз, трудолюбие, профессиональное мастерство.

Поистине ключевой характер приобретает начальная фаза рассказа, задающая эмоционально-смысловой тон не только ему, но и всей книге «Тайное тайных», которую этот рассказ открывает:

Когда впервые после долгих войн пришли в деревню плотники рубить богатому мужику Афиногенову вместо сгоревшей новую избу, – насмешек над ними было много. То кричали, что топоры за революцию потупились – голов много порубили ими, то – осины им теперь, разучившись, не отличить от сосны [Иванов, 2012, с. 7].

Так все и произошло с героем рассказа «румяным, ясным и звонкоголосым» Тимофеем, сыном подрядчика Евграфа Смокотинина. Горячо взявшийся за плотницкую работу, но за годы войны утративший профессиональные навыки, он сразу же совершил постыдную для опытного плотника ошибку: «из лесины думал вырубить матицу, а попался громадный сук, значит, опозорился: в матице сучков не полагается» [Там же, с. 8]. В неудобном положении оказался он и из беспамятливости по отношению к местным порядкам: так, под общее неодобрение грубо накричал он на Катерину, по издавна заведенному обычаю пришедшую на стройку без спроса набрать щепы. Но за долгие годы войны люди разучились не только созидать, творить и строить, и любить, испытывать чувства теплоты и душевной привязанности. Вот и к приглянувшейся Катерине Тимофеем подошел с привычным для него опытом любовных отношений:

...с бабами он был боек – и вместо щепы, через незастегивавшуюся прореху, схватил за грудь. Катерина – не так, как иные бабы: не завизжала, не заерзала, и ноги ее остались твердыми... – Катерина только сказала:
– Полно, – и выпустила щепу [Там же].

Встретив неожиданный отпор, и привыкший все препятствия устранять силой оружия, он, возвращаясь с охоты на волка, из того же ружья, из которого убил зверя, выстрелил в окно Катерины. Он не убил ее, лишь ранил. Отсидев год в тюрьме, домой он не вернулся, и жизнь неумолимо покатила под откос. Иногда возникала мысль об отце: «Все думалось, надо прийти к отцу, поклониться в ноги и сказать, а что сказать – он и сам еще не знал. А пойти к отцу все не было времени, да и одежонка поистрепалась» [Там же, с. 12]. Он начал шляться по ярмаркам, связался с конокрадами, неоднократно был жестоко бит: «У него вытек глаз, он стал хромать – и пошла о нем тяжкая слава. Теперь и пьяный даже он не думал возвращаться к отцу» [Там же]. И однажды «Тимофея нашли за овина-

ми, подле проруби на речке, мертвого. Голова у него была проломлена в трех местах, а десны – совершенно голые, как у ребенка» [Иванов, 2012, с. 12]. Родное село было не рядом, «думали, отец не приедет, а он приехал, на паре саврасых... Посмотрел сыну в лицо, перекрестил, и, прикрыв его скатертью, велел положить в сани» [Там же].

Создавая этот рассказ, как и всю книгу «Тайное тайных», Вс. Иванов исходил из сознания глубокой типичности ситуации бродяжничества, уходящей своими корнями в Революцию, и своего рода автокомментарием к рассказам книги явились его письма к М. Горькому, из своего солнечного Сорренто несколько идиллически воспринимавшего российское бытие: «Вот Вы, Алексей Максимович, пишете, что спокойствие вредно для людей. Вредно ли оно для нас русских сейчас. Очень не вредно... Спокойствие нации воспитывает волю и жадность к жизни отдельных людишек, чего у нас сейчас нет; люди исковерканы, все внутри их изломано, свершить преступление сейчас ничего не стоит – да вот, кстати, и в тюрьмах у нас перенаселение. Людей сейчас жестоко карают за растрату или хулиганство, а их, право, карать не за что, их надо лечить» (цит. по: [Иванов, 2012, с. 331]).

Как типичную для «огнедышащей нови» ситуацию воспринимает фактор бродяжничества и Л. Леонов в рассказе «Бродяга» (1928), акцентируя социально-психологическую значимость мотива на номинативном уровне. В центре рассказа судьба сорокапятилетнего Чаадаева, только что возвратившегося с войны и пытающегося найти место в новой жизни. Война пощадила тело Чаадаева, с войны он вернулся физически «целым, даже неподшибленным» [Леонов, 2013, с. 485], но память болезненно отзывалась на некоторые события тех лет, в частности тот случай, когда в уступках «революционной вольности» сошелся он с молдаванкой, тоже, как и его жена, солдаткой и тоже по имени Катеринка. Не обременяя себя никакими моральными обязательствами, он беззастенчиво «жрал ее кур и пил ее вино» [Там же, с. 486], и при расставании «слезы помешали видеть женщине, что увозя с собой на север ее короткое счастье, он увозил и швейную машинку, приглянувшуюся в любовный час» [Там же]. Не ушла из памяти и тяжкая, растянувшаяся на недели дорога домой, когда в тифозном бреде изо всех сил пытался он удержать между колен драгоценную покражу, «потому что он вез ее в подарок северной Катерине, которую положил в основу своего мечтательного, в сущности, счастья» [Там же].

Так, «в сущности», все и произошло. Счастье оказалось «мечтательным»: отчужденно встретила Катерина, успевшая совратиться в другом человеке качествами, которыми не располагал Чаадаев: был возлюбленный Катеринки Серега, «беспутный мечтатель о таком переустройстве мужицкого хозяйства, чтоб росли в одном общем саду золотые яблоки» [Там же, с. 487]. Но беда настигла его: «ранним утром захлестнуло Серегу деревом на рубке леса» [Там же]. Когда, шатаясь от горя, вернулась Катеринка домой после его похорон, и «черный от любви и унижения» Чаадаев сделал попытку приласкать ее, она «метнулась в сторону и закричала, как от ожога» [Там же, с. 488].

«Подшибленность» войной прорвалась изнутри, сказала непониманием новой жизни. Знаменитые его «ненасытное» трудолюбие и домовитость оказались бесполезны: замучили недоимки, «непонятные налоги», держала в страхе угроза властей описать хозяйство, и однажды, когда пришла очередная повестка, Чаада-

ев, «повинуясь какому-то странному влечению», съел ее и тем самым поставил себя в положение виновного перед законом. Теперь уже «ничто более не удерживало его в этой могиле обманутых чаяний» [Леонов, 2013, с. 490]: он собрал суму и вышел из дома.

В небольшом рассказе писатель подробно излагает историю тяжкого скитальчества героя: как бы тщательно ни выбирал Чаадаев место укрытия, бдительное око закона неумолимо настигало его. В конце рассказа неожиданно всплывает фигура повествователя, встретившего бродягу в местах, куда уже редко проникал человек и куда сам он попал в поисках редкой целебной травы: «Через годик совсем чертом стану, а черту что?» – как итог невольного разрыва с миром людей осмыслил свою жизнь бродяга при этой встрече: «А черту что, говорю! Сквозь него даже можно пройти, а он смеется» [Там же, с. 492].

Конец рассказа не совпадает с финалом судьбы героя: о том, чем завершится бродяжнический путь Чаадаева, читатель остается в неведении. О том же, какое значение придавал этому произведению сам писатель, косвенно свидетельствует отзвук его в большом романе 1930-х гг. «Дорога на Океан», что улавливается и во вставном рассказе одинокого садовника, и в имени Катеринка, которым наделена одна из героинь романа.

В 70-е гг. прошлого века рассказ «Бродяга» стал объектом литературоведческого внимания в большом коллективном труде, посвященном жанру рассказа в советской литературе. Следуя господствующей в идеологии тех лет тенденции аподиктического отношения к революции, исследователь литературы 1920-х – 1930-х гг., полностью игнорируя сочувственное отношение автора к герою, вину за все его жизненные злоключения на него и возлагает: «Мужицкое, рабски-тяжелое, угрюмое, расчетливое начало слишком прочно сидело в Чаадаеве, чтоб мог он стать иным, дать волю человеческому в себе. И в этом увидел художник драму человека, кровно связанного с обреченным старым миром» [Русский советский рассказ..., 1970, с. 281].

Можно сказать, что в данном случае не только герой, но и автор в одинаковой мере стали жертвой соединения низкого уровня герменевтической культуры с глубиной идеологической предвзятости, что, однако, не мешало самой литературе идти своим путем, развиваться по своим объективно существующим законам. Когда в 1930-е гг. А. Платонов обратился к мотиву бродяжничества, его повесть «Река Потудань» (1937) во многом откликнулась на уже сложившийся нарративный канон, обнаружила верность многим структурным элементам «бродячего сюжета».

Особенную значимость в этом отношении представлял мотив возвращения, привлекающий многообразием форм своего жизнепроявления, когда исполненной знакового смысла могла предстать и открывающая текст фраза:

Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. В мире, по губерниям снова стало тихо и малоллюдно: некоторые люди умерли в боях, многие лечились от ран и отдыхали у родных, забывая в долгих снах тяжелую работу войны, а кое-кто из демобилизованных еще не успел вернуться домой и шел теперь в старой шинели с походной сумкой, в мягком шлеме или овечьей шапке, – шел по густой, незнакомой траве, которую раньше не было времени видеть, а может быть – она просто затоптана походами и не росла тогда [Платонов, 1989, с. 218].

Так в малоизвестный уездный город на реке Потудань возвратился домой «бывший красноармеец» Никита Фирсов.

Представшая его глазам общая картина новой жизни противоречиво складывается, с одной стороны, из «вида устаревших, небольших домов, сотлевших заборов и плетней» [Платонов, 1989, с. 201] и людей, одетых «в старую одежду, победному, либо в поношенное военное обмундирование времен империализма» [Там же, с. 222], а с другой – из возвращенной веры в торжествующую силу мира, труда, любви: «...редко кто шел в унынии, разве только вовсе пожилой, истощенный человек» [Там же].

Герой с готовностью встраивается в мирную жизнь: идет на работу в плотницкую мастерскую, с внешней стороны удачно складываются личные отношения с Любой. Однако в ходе всепреобразующей воли Революции в человеческих отношениях успели произойти и такого рода изменения, которые затронули их природную суть. Как и в рассказах Вс. Иванова и Л. Леонова, в повести А. Платонова «Река Потудань» нарратив возвращения тоже оказывается представленным в полной неразрывности с изменившимся характером гендерных связей, более того, именно исследование скрытого, тайного механизма их воздействия на социальное поведение человека оказывается в центре авторского внимания, становится контрапунктным моментом художественного изображения, предметом скрупулезного психологического анализа, движущим началом сюжетной интриги.

В семейных отношениях любящих друг друга Никиты и Любы произошло что-то, что однажды вынудило героя выйти за порог дома, присоединиться к шедшему в направлении уездного базара нищему и найти убежище среди его рундуков. Сторож напрасно гоняет немого мужика, он упрямо возвращается на облюбованное место, пока хитрый старик не догадался использовать его в своих интересах: за миску вчерашних щей Никита метет теперь рынок, убирает мусор, чистит отхожее место, несет ночной караул.

Чтобы понять причины столь непонятного поведения человека, физически «неподшибленного» и адекватно мыслящего, читателю оказывается необходимым вникнуть в текст брачной жизни героев, изнутри – путем столкновения многообразных и противоречивых фактов обнажающий скрытую причину взрыва их семейных отношений.

В отличие от Никиты, который новое время воспринимает инертно, Люба в полной мере использует предоставляемые им возможности роста и развития: она учится в уездной академии медицинских наук и стоически преодолевая мучения нищенства и голода, аккуратно выполняет требования учебного плана. Возможности социального роста и гражданского самоосуществления оказываются для нее важнее радостных переживаний любви и семейного благоустройства. Показателен диалог, который происходит между ними, когда из желания облегчить мученическую жизнь подруги Никита делает ей предложение:

- Давайте я с вами буду теперь! – сказал Никита.
- А что вы будете делать? – спросила Люба в слезах...
- Я ничего не буду, – ответил он. – Мы будем жить обыкновенно, чтоб вы не мучались.
- Обождем, нам нечего спешить, – задумчиво и расчетливо произнесла Люба [Там же, с. 227].

«Задумчивость» и «расчетливость» определяют логику и дальнейшего ее поведения в отношениях с любимым мужчиной. Если для Никиты важнее всего было в отношениях с Любой «получать питание для наслаждения сердца» [Платонов, 1989, с. 227] и в душевном нетерпении он спрашивал, «как они дальше будут жить – вместе или отдельно», каждый раз в ответе на этот вопрос она без каких-либо колебаний исходила из первозначимости учебного расписания, «потому что ей надо поскорее окончить академию медицинских наук, а там – видно будет» [Там же, с. 228].

По существу, Никита становится жертвой сдвинутой, даже перевернутой естественного хода гендерных отношений, той тенденции к вульгаризации социального равенства мужчины и женщины, результатом которой стал процесс ее бурной маскулинизации. Ведь даже сам факт замужества Люба склонна рассматривать как момент, важный в упрочении ее социального статуса: на другой день бракосочетания, когда врачи и сестры милосердия поздравляли ее, «она держалась с ними важно и таинственно, как истинная женщина» [Там же, с. 233].

Уступчивый и деликатный по характеру Никита в брачном союзе с Любой становится живым объектом чужого волеизъявления, диктата голого рационализма. В раскладе семейных обязанностей Никите отведена женская роль, что в тексте повести закреплено частотным повторением такой бытовой детали, как «он подмел комнату, затопил печку» [Там же, с. 232], «заодно вытер влажной тряпкой всю мебель» [Там же, с. 233], «приготовил обед из одного блюда» [Там же]... Но живой организм взаимодействия мужчины и женщины подчиняется своим законам, и к тому времени, когда удовлетворенная ходом своих служебно-деловых планов, предварительно «покушав, Люба встала первой из-за стола» и открыв объятия навстречу Никите, произнесла разрешительное «Ну!», в Никите успело что-то перегореть, и он попросил: «Подождите, у меня сердце сильно заболело» [Там же, с. 232]. Писатель уходит от продиктованной всем ходом сюжетного развития эротики, прибегая к широко развернутой фигуре умолчания и резкому обрыву действия:

Люба проснулась и глядела на мужа.

– Не унывай, не стоит, – сказала она, улыбаясь. – У нас все с тобой наладится!

[Там же, с. 232].

Однако теперь бытовая налаженность жизни, когда «Люба лечила людей в больнице, а Никита делал крестьянскую мебель» [Там же, с. 234] и старательно работал по дому, лишь усугубила чувство внутренней расстроенности и неблагополучия их отношений, и однажды, увидев, как «Люба осторожно, почти неслышно плакала» [Там же, с. 235], «Никита встал, бесшумно оделся и ушел наружу» [Там же, с. 236].

Отец встретил Никиту у отхожего места на базаре: «Мы думали, ты покойник давно... Значит, ты цел?» [Там же, с. 238]. И первый вопрос Никиты к отцу был о Любе, и, услышав, что Люба больна и нуждается в помощи, он без промедления направился домой. Нетерпение встречи было так велико, что ночью он не идет, а бежит по безлюдному большаку, не дождавшись, когда Люба отзовется на стук в окно, перелезает через калитку и, оказавшись у ее кровати, произносит: «Люба, это я пришел!» [Там же, с. 240]. Теперь их семейная жизнь обретает то равновесие, которое постоянно возвращает к памяти об уверенном течении «счастливой»

реки Потудань по строго определенному ей природой руслу: «и эта вода подо льдом будет течь мимо берегов далеких стран, в которых сейчас растут цветы и поют птицы» [Платонов, 1989, с. 230]. Из отношения Любы к Никите ушла та жесткая властность, которая ощущается и в авторском повествовании («задумчиво и *расчетливо* произнесла» [Там же, с. 227]; «встала *первой* из-за стола» [Там же, с. 232]), проникала и в речь самой героини («я *сама* сделаю все» (курсив мой. – Л. Я.) [Там же, с. 234;]. В героине проснулось то чувство вечной женственности, когда приятнее просить, чем диктовать и требовать, и не случайность этой новой для героини интонации проступает в выразительной частотности употребления лексемы «попросила»: «Иди скорее ко мне! – *попросила она*» [Там же, с. 240] ; «Люба *попросила* Никиту, – может быть, он затопит печку...» [Там же]; «Растопи печку посильнее, а то я продрогла, – *попросила* Люба (курсив мой. – Л. Я.) [Там же]. И хотя Никита по-прежнему проявляет склонность к домашнему благоустройству – носит воду, колет дрова, топит печку, побудительные причины его действий уже другие, исходят не из подчиненности чужой воле, а из глубоко внутреннего чувства мужчины, способного нести ответственность за судьбу доверившейся ему женщины.

Если в сцене после свадьбы, когда Люба произнесла свое разрешающее «Ну!», эротика полностью скрыта фигурой умолчания, то в сцене, завершающей действие повести, от использования эротических нюансов автор не уходит, хотя почеловечески писателю Платонову тот Никита, который полнился ранее более платоническими чувствами, чем радостью физиологического удовлетворения, оказывается душевно ближе и понятнее, что скрыть в тексте оказалось невозможно: «Однако, – размышляет автор, – Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно...» [Там же].

Принципиальная значимость нарративной связи мотива бродяжничества с гендерной проблематикой литературы 1920-х – 1930-х гг. как одного из главных факторов выявления жанровой и образно-стилевой близости произведений Вс. Иванова, Л. Леонова и А. Платонова с особой силой выразительности проступает на общем фоне текущего литературного процесса того времени, что наглядно подтверждают и его литературные документы. Так, в мемуарной книге «Горький среди нас» К. Федин вспоминает: «Когда я прощался, он взял меня за плечи и проговорил на ухо сокровенным шепотом: – Женщину непременно введите. Без женщины нельзя» [Федин, 1962, с. 111].

Речь, разумеется, шла не об автоматическом включении образа женщины в повествование, а о достойном восприятии литературной проблематики, связанной с осознанием особенностей духовного развития женщины в эпоху революционных перемен. По сути, то же самое прорывается в раздраженной реплике В. Шкловского – «...зачем нам в литературе скрывать, что люди в природе разделены на мужчин и женщин» [1989, с. 11], когда уже много позже (1983) во вступительной статье к «Избранным произведениям» Евгения Замятина он отстаивал право этого писателя на сосредоточенное внимание к гендерной стороне жизни.

По глубине сосредоточенности на проблеме отношений мужчины и женщины русская литература 1920-х – 1930-х гг. занимает особое место, и не только в национальной, но и в мировой культуре. Фактор ее глубинной связи с мотивным комплексом блудного сына тоже проступает как один из моментов идейно-эсте-

тической характерности литературного процесса тех лет: «В той или иной степени всех героев “Тайное тайных” можно назвать блудными детьми XX века» (цит. по: [Иванов, 2012, с. 424]), – справедливо отмечает Е. А. Папкина.

Было бы удивительно, если бы в произведении на тему бродяжничества, т. е. с нарративными моментами разрыва с отчим домом, не веяло инетертекстуальной атмосферой евангельской притчи о блудном сыне, что в равной степени может относиться и к осознанному автором творческому замыслу и восходить к законам читательской рецепции: в равной степени проявленности ошутимость эта характерна для каждого из анализируемых произведений Вс. Иванова, Л. Леонова, А. Платонова.

Ориентированность на притчево-евангельский код проявляется в выборе действующих лиц произведений, прежде всего акцентированном характере семейных отношений героев: ни у одного из них нет матери, но до чрезвычайности важна роль отца. Правда, эта ситуация не характерна для героя Л. Леонова, но едва ли случайно упоминание об «этой сорок пятой его весне» [Леонов, 2013, с. 485], т. е. в возрасте, когда мужчина уже не нуждается в поддержке родителей. Отсутствие образа матери как своего рода минус-прием оказывается в этом случае столь же действенным, что и открытая акцентированность мужской образности. Об авторской осознанности нарративной значимости этого творческого хода может свидетельствовать факт сосредоточенного внимания к образу матери во многих других произведениях Вс. Иванова и А. Платонова. В принципе же оказывается, что восприятию произведений Вс. Иванова, Л. Леонова и А. Платонова как единого нарративного блока способствует не только неразрывность мотивов бродяжничества и блудного сына, но и характерная для всех трех произведений структурированность их художественного текста, проявляющаяся в акцентированности сюжета возвращения, эпической развернутости перипетий бродяжнической жизни, характерной обособленности текста женской судьбы – Катерины в «Жизни Смокотинина», Катеринки в «Бродяге», Любы в «Реке Потудань».

Продуктивность сравнительно-исторического подхода к анализу художественных произведений разного времени и принадлежащих разным авторам восходит к традициям российского литературоведения, прежде всего сравнительно-исторической школы А. Н. Веселовского, и не утрачивает своей остроты до наших дней [Шатин, 2015]. Сопоставительный анализ в данном случае трех произведений Вс. Иванова «Жизнь Смокотинина», Л. Леонова «Бродяга» и А. Платонова «Река Потудань» позволяет не только видеть поэтико-смысловую неповторимость каждого из них, но высветить и некоторые из важных сторон теоретического аспекта проблемы, связанные, в частности, с взаимодействием категорий мотива и жанра, приводящим в иных случаях к жанровым образованиям нового типа.

Список литературы

Иванов Вс. Тайное тайных / Изд. подгот. Е. А. Папкина. М.: Наука, 2012. 566 с. (Серия «Литературные памятники»)

Леонов Л. М. Собр. соч.: В 6 т. М.: Книжный Клуб «Книговек», 2013. Т. 4. 656 с.

Окрыленные временем: Рассказ 1920-х годов / Сост. Н. В. Банникова, В. Б. Чернышева; вступ. ст. и биограф. справки Н. В. Банникова. М.: Худож. лит., 1990. 668 с.

Сюжет, мотив, жанр

Платонов А. П. Избранное / Сост., предисл. и коммент. Н. Г. Полтавцевой. М.: Просвещение. 1989. 367 с.

Русский советский рассказ. Очерки истории жанра / Под ред. В. А. Ковалева. Л.: Наука, 1970. 734 с.

Рыбальченко Т. Л. Сюжет бродяжничества и новая картина мира в современной русской литературе // Вестник Том. гос. ун-та. Филология. 2013. № 6 (26). С. 87–100.

Смирнов И. П. Странничество и скитальчество в русской литературе // Звезда. 2005. № 5. С. 205–212.

Троцкий Л. Д. Литература и революция. М.: Политиздат, 1990. 400 с.

Федин К. А. Собр. соч.: В 9 т. / Примеч. Б. Я. Брайниной. М.: ГИХЛ, 1962. Т. 9. 783 с.

Шатин Ю. В. Мотив квартиры в русской балладе новейшего периода (Ходасевич, Пастернак, Мандельштам) // Шатин Ю. В. Русская литература в зеркале семиотики. М.: ЯСК, 2015. С. 195–202. (Коммуникативные стратегии культуры)

Шкловский В. Б. О рукописи «Избранное» Евгения Замятина // Замятин Е. И. Избранные произведения. М.: Сов. писатель, 1989. С. 5–11.

References

Fedin K. A. Collected works. In 9 vols. Comment. by B. Ya. Brainina. Moscow, GИЛ, 1962, vol. 9, 783 p. (in Russ.)

Ivanov Vs. *Tainoe tainykh* [Secretum Secretorum]. Prep. E. A. Papkova. Moscow, Nauka, 2012, 566 p. (in Russ.)

Kovalev V. A. (ed.). *Russkii sovetskii rasskaz. Ocherki istorii zhanra* [Russian Soviet story. Essays on the history of the genre]. Leningrad, Nauka, 1970, 734 p. (in Russ.)

Leonov L. M. Collected works. In 6 vols. Moscow, Knizhnyj Klub “Knigovek”, 2013, vol. 4, 656 p. (in Russ.)

Okrlyennye vremenem: Rasskaz 1920-kh godov [Inspired by Time: A Story of the 1920s]. Comp. by N. V. Bannikova, V. B. Chernysheva; intr. and comment. by N. V. Bannikova. Moscow, Khudozhestvennaya literatura, 1990, 668 p. (in Russ.)

Platonov A. P. Selected works. Comp., intr. and comment. by N. G. Poltavtseva. Moscow, Prosveshchenie, 1989, 367 p. (in Russ.)

Rybalchenko T. L. Syuzhet brodyazhnichestva i novaya kartina mira v sovremennoi russkoi literature. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya* [Bulletin of Tomsk State University. Philology], 2013, no. 6 (26), pp. 87–100. (in Russ.)

Shatin Yu. V. Motiv kvartiry v russkoi ballade noveishego perioda (Khodasevich, Pasternak, Mandelshtam). In: Shatin Yu. V. *Russkaya literatura v zerkale semiotiki* [Russian literature in the mirror of semiotics]. Moscow, Yazyki slavyanskoi kul'tury, 2015, pp. 195–202. (in Russ.)

Shklovsky V. B. O rukopisi “Izbrannoe” Evgeniya Zamyatina. In: Zamjatin E. I. Selected works. Moscow, Sovetskii pisatel', 1989, pp. 5–11. (in Russ.)

Smirnov I. P. Strannichestvo i skital'chestvo v russkoi literature. *Zvezda* [The Star], 2005, no. 5, pp. 205–212. (in Russ.)

Trotsky L. D. *Literatura i revolyutsiya* [Literature and Revolution]. Moscow, Politizdat, 1990, 400 p. (in Russ.)

Якимова Л. П. Мотив бродяжничества в русской литературы 1920-х годов

Информация об авторе

Людмила Павловна Якимова, доктор филологических наук

Information about the Author

Ljudmila P. Yakimova, Doctor of Sciences (Philology)

*Статья поступила в редакцию 27.11.2023;
одобрена после рецензирования 18.01.2024; принята к публикации 20.01.2024
The article was submitted on 27.11.2023;
approved after reviewing on 18.01.2024; accepted for publication on 20.01.2024*